

Сёрен
КЪЕРКЕГОР



Или – или

PHILOSOPHY

Философия – Neoclassic

Сёрен Кьеркегор

Или – или

«Издательство АСТ»

УДК 1(091)(489)
ББК 87.3(4Дан)

Кьеркегор С.

Или – или / С. Кьеркегор — «Издательство АСТ»,
— (Философия – Neoclassic)

ISBN 978-5-17-133464-2

Сёрен Кьеркегор (1813—1855) – датский философ, теолог и писатель, по праву считается предтечей и одновременно основателем европейского экзистенциализма. Трактат «Или – или» первое крупное сочинение величайшего христианского экзистенциалиста Сёрена Кьеркегора, в котором автор излагает свое видение этических и эстетических этапов человеческой экзистенции. В настоящее издание включены четыре основные части из этого трактата, которые могут восприниматься как самостоятельные произведения: «Афоризмы эстетика» «Несчастнейший» «Дневник обольстителя» «Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал». В формате PDF А4 сохранен издательский макет.

УДК 1(091)(489)

ББК 87.3(4Дан)

ISBN 978-5-17-133464-2

© Кьеркегор С.
© Издательство АСТ

Содержание

Предисловие переводчика к первому изданию	6
Афоризмы эстетика[5]	8
Несчастнейший[12]	24
Дневник обольстителя[28]	31
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Сёрен Кьеркегор

Или – или

© ООО «Издательство АСТ», 2021

* * *

Предисловие переводчика к первому изданию

Предлагаемые три произведения: «Афоризмы эстетика»¹, «Дневник обольстителя», «Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал»² датского писателя Сёрена Кьеркегора взяты из его замечательного сочинения «*Одно из двух*»³, состоящего из двух частей, прямо противоположных между собой по содержанию; первая часть – чисто эстетического, а вторая – строго этического характера. Названное сочинение вышло в 1843 году под псевдонимом *Виктор Эремит*, но в предисловии было сказано, что последний является лишь издателем, а не автором, так как все статьи, составляющие предлагаемое сочинение, найдены им в бумагах одного приятеля и принадлежат, как видно, перу двух разных лиц, из которых одно – эстетик – дало материал для первой части, а другое – этик – для второй.

«Одно из двух» – сочинение настолько оригинальное как по замыслу, так и по исполнению, что мы считаем нужным дать здесь хотя бы краткие сведения о самой личности автора и его воззрениях.

* * *

Сёрен Кьеркегор родился в 1813 году в Копенгагене; 17 лет от роду он был уже студентом, через 10 лет – кандидатом богословия, а в 1841 году получил степень магистра философии за диссертацию «Об иронии». Побывав затем несколько раз в Германии для ознакомления с немецкой философией, он вернулся в Копенгаген, где и прожил всю остальную жизнь (он умер 42 лет, в 1855 году), неутомимо работая над своими литературными трудами, составившими, по выражению Брандеса, «целую литературу в литературе» и создавшими ему славу гениальнейшего писателя Дании.

Университетские годы Кьеркегора совпали со временем владычества над умами философии Гегеля, и юноша Кьеркегор, вслед за своими современниками, тоже увлекся обещаниями «системы, ведущей в обетованную страну человечества». Но отвлеченные истины гегелевского учения ненадолго удовлетворили Кьеркегора, уже успевшего вынести глубокие впечатления из своей недолгой жизни. Попытавшись применить к ней новое учение, он не замедлил убедиться в его несостоятельности. Тогда все силы могучей диалектики Кьеркегора направились к тому, чтобы выяснить и доказать бессилие философии относительно разъяснения загадок жизни и правил, которыми человек должен в ней руководствоваться. Стремление же философии Гегеля согласовать веру и знание окончательно возмутило Кьеркегора и стало предметом его уничтожающей критики. В то время как философы утверждали, что принцип противоположности уже утратил свое значение, и, созерцая прошедшее, старались примирить противоположности в высшем единстве мысли, Кьеркегор, имея в виду настоящее, ставит их рядом перед каждым индивидуумом как предметы выбора: «или то, или другое», «одно из двух»... Глубокое знание человеческой души указало ему путь, по которому следовало идти к намеченной им цели. По его мнению, век наш, воображая, что живет не только этической, но даже и религиозной жизнью, на самом деле лишь блуждал в ложных эстетико-философских взглядах на жизнь. Чтобы вывести людей из их заблуждения, Кьеркегор счел нужным начать с разъяснения самых элементарных понятий о жизни, в которых в его время, как и вообще во все времена и эпохи

¹ Напечатаны в «Вестнике Европы» в майской книжке 1886 года; ныне же являются во вновь обработанном переводе. – *Прим. перев.*

² Напечатано в «Северном вестнике», в сентябрьской, ноябрьской и декабрьской книжках 1885 г. и также переработано. – *Прим. перев.*

³ Современное название «Или – или». – *Прим. ред.*

человечества, царила величайшая путаница. Этим и объясняется, что автор такого глубоко религиозного направления, каким был в сущности Кьеркегор, начал свою деятельность с произведения, относящегося к области эстетики и этики. На Кьеркегора нельзя смотреть как на мыслителя, бывшего сначала эстетиком, а затем через этику дошедшего до религии; напротив, он с самого начала глубоко религиозен и лишь надевает на себя различные маски, чтобы врасплох поймать своих современников в ложных воззрениях на жизнь, объяснить им их заблуждения и затем привести их к истинному этико-религиозному взгляду на жизнь. С этой именно целью написано «Одно из двух», состоящее, как уже сказано выше, из двух прямо противоположных друг другу по характеру частей. Связующим звеном между обеими частями служит мысль автора, высказываемая им во второй части от лица этика: культ наслаждения ведет человека к разочарованию, нравственному переутомлению и отчаянию; спасти от всего этого может только выбор противоположного серьезного и строгого отношения к жизни, благодаря которому она и получает высший смысл, не лишаящий ее красоты, но, наоборот, придающий ей действительную внутреннюю красоту.

* * *

Ввиду того, что «Афоризмы эстетика» и «Дневник обольстителя» – отдельные статьи первой, а «Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал» – одна из статей второй части, наметим вкратце общее содержание обеих частей.

Все восемь статей первой части проникнуты мировоззрением эстетика, признающего один культ красоты и наслаждения и бросающегося, отыскивая их, во все стороны. Ни одна из прекрасных, интересных сторон жизни не ускользает от него; музыка (статья «Моцартовский Дон Жуан»), поэзия и театр (статья «Софокл и Шекспир»), любовь и женщины («Дневник обольстителя») – все служит ему материалом.

«Афоризмы эстетика», справедливо считающиеся жемчужинами датской литературы, служат как бы прелюдией ко всей первой части, отражая в себе различные, быстро сменяющиеся в душе эстетика настроения. «Дневник...» же дает понятие о самых попытках эстетика жить исключительно эстетической жизнью.

Вторая часть является выражением взглядов строгого этика, жреца культа нравственности и долга и состоит из трех статей: «О браке»; «Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал»; «О греховности человеческой».

Помещаемая здесь вторая из них является полнейшим контрастом «Дневнику обольстителя», так как содержит систематическую с точки зрения логики и нравственности проверку мирозерцания эстетика. Главное значение этой статьи, так же как и всей вообще литературной деятельности Кьеркегора, в том, что автор заставляет читателя не только объективно проследить обмен мыслями между двумя последователями различных направлений в жизни, но также принять в их споре личное участие, согласиться с необходимостью «выбора» и проникнуться сознанием той ответственности, какую этот выбор на них налагает⁴.

Петр Ганзен

⁴ В настоящий сборник добавлено эссе «Несчастнейший», также входящее в сборник «Или – или». – Прим. ред.

Афоризмы эстетика⁵

*Grandeur, savoir, renommée,
Amitié, plaisir et bien
Tout n'est que vent, que fumée:
Pour mieux dire, tout n'est rien⁶.*

Что такое поэт? – Несчастный, переживающий тяжкие душевные муки; вопли и стоны превращаются в его устах в дивную музыку. Его участь можно сравнить с участью людей, которых сжигали заживо на медленном огне в медном быке Фалариса⁷: жертвы не могли потрясти слуха тирана своими воплями, звучавшими для него сладкой музыкой.

И люди толпятся вокруг поэта, повторяя: «Пой, пой еще!», иначе говоря пусть душа твоя терзается муками, лишь бы вопль, исходящий из твоих уст, по-прежнему волновал и услаждал нас своей дивной гармонией.

Требование толпы поддерживают и критики: это верно, так и должно быть по законам эстетики! Критик, впрочем, тот же поэт, только в сердце его нет таких страданий, а на устах – музыки. Оттого, по-моему, лучше быть пастухом, понятым своим стадом, чем поэтом, ложно понятым людьми!

* * *

Я предпочитаю разговаривать с детьми – есть, по крайней мере, надежда, что из них выйдут разумные существа, – тогда как те, которые считают себя таковыми... увы!

* * *

Какие люди странные! Никогда не пользуясь присвоенной им свободой в одной области, они во что бы то ни стало требуют ее в другой: им дана свобода мысли, так нет, подавай им свободу слова!

* * *

Ничего не хочется... Ехать не хочется – слишком сильное движение; пешком идти не хочется – устанешь; лечь? – придется валяться попусту или снова вставать, а ни того, ни другого не хочется... Словом, ничего не хочется.

⁵ Перевод П. Ганзена.

⁶ Величие, мудрость, громкое имя, Дружба, удовольствия и добродетель — Не что иное, как ветер, как дым, Иными словами, – ничто (*фр.*).

⁷ Фаларис, тиран Агригентский, родом с Крита, или скорее из Агригента, захватил власть в 568 г. до Р. Х. Медный бык его, в котором сжигались живые человеческие жертвы, был изобретен скульптором Периллом. Изобретатель был сожжен первым в своем изобретении. – *Прим. перев.*

* * *

Есть насекомые, умирающие вслед за оплодотворением. Так и наши радости: момент самого полного наслаждения – и их уже нет!

* * *

Полезный совет писателям: следует набрасывать свои размышления как придется и прямо отдавать в печать; при чтении же корректуры могут появиться и хорошие мысли. Итак, те, у кого до сих пор не хватало храбрости выступить в печати, – смелее! Не следует пренебрегать и опечатками; блеснуть остроумием – хотя бы только и благодаря опечаткам, – по меньшей мере, законное право писателя!...

* * *

Главное несовершенство человеческой природы состоит в том, что цели наших желаний – всегда в противоположном. Можно привести такую массу примеров, что и психологу будет над чем поломать себе голову. Так, ипохондрик особенно чуток к юмору, сластолюбец охотно говорит об идиллии, развратник – о морали, скептик – о религии. Да и святость постигается не иначе как в грехе.

* * *

Кроме многочисленных знакомых, у меня есть один друг – грусть. Среди шумного веселья и в часы усердной работы он вдруг отзывает меня, увлекает в свое уединение, и я иду за ним, хотя, в сущности, и не двигаюсь с места. Никогда сердце мое не имело более верного друга – мудрено ли, что я принадлежу ему всем сердцем!

* * *

Какую бесконечную грусть испытываешь при виде человека, совершенно одинокого на свете! На днях я видел такую бедную девушку – она шла на конфирмацию одна-одинешенька!

* * *

Есть болтливое резонерство, которое по своей нескончаемости и в смысле значения для истории сходно со списком необозримых египетских родословных.

* * *

Старость, как известно, осуществляет мечты юности; пример – Свифт: в молодости он построил дом для умалишенных, а на старости лет и сам поселился в нем.

* * *

Можно просто испугаться того, с каким мрачным глубокомыслием открывали в старину англичане двусмысленность в основе смеха. Вот что говорит, например, д-р Гартли: «Смех при появлении у детей есть начинающийся плач, вызванный болью, или сразу подавленное и повторяющееся через короткие промежутки выражение чувства боли»... Что если все на свете было бы лишь одним недоразумением, если бы смех был, в сущности, плачем!

* * *

Корнелий Непот рассказывает, как один начальник большого кавалерийского отряда, запертый неприятелем в крепости, приказывал ежедневно бить лошадей кнутом, чтобы они не захворали от продолжительной стоянки и бездействия...

Я тоже теперь живу как осажденный, и чтобы не пострадать от продолжительного бездействия, плачу, плачу, пока не устану.

* * *

Сдается мне, я представляю собой нечто вроде шахматной фигуры, о которой противник говорит: заперта!

* * *

*Аладдин*⁸ производит на нас такое освежающее впечатление именно потому, что мы видим в этой пьесе детски гениальную смелость самых причудливых желаний. А многие ли в наше время дерзают действительно пожелать, потребовать что-либо, обращаясь к природе: или, как благовоспитанное дитя, с просьбой «пожалуйста», или с бешенством отчаяния? В наше время много толкуют о том, что человек создан по образу и подобию Божию, но много ли найдется людей, которые, сознавая это, принимают по отношению к жизни тон повелителя? Не похожи ли мы все на Нурредина, низко кланяющегося духу, опасаясь потребовать слишком много или слишком мало? Не низводим ли мы каждое великое требование наше к болезненному созерцанию собственного «я»? Вместо того чтобы предъявлять требования жизни, мы предъявляем их себе... к этому нас, впрочем, готовят и дрессируют!

* * *

Громадная неувядаемая мощь древней народной поэзии в том и состоит, что в ней есть сила желаний. Желания же нашего времени только греховны и пошлы – у нас все сводится к желанию поживиться за счет ближнего. Народная поэзия превосходно сознает, что у ближнего нет того, чего она жаждет, и поэтому, если иной раз и предъявляет какое-нибудь грешное желание, то оно до того величественно, до того вопиет к небу, что заставляет содрогнуться. Эта поэзия не торгуется в своих требованиях с холодными соображениями трезвого рассудка до сих пор, например, Дон Жуан проходит перед нами на сцене со своими «1003 любовницами»,

⁸ Драма Эленшлегера. Сюжет взят из «Тысячи и одной ночи». – Прим. перев.

и никто не осмелится улыбнуться, уже из одного уважения к преданию. А вздумай поэт создать что-либо подобное в наше время, его, наверное, осмеют.

* * *

Предание говорит, что Пармениск потерял способность смеяться в трюфонийской пещере, но снова приобрел ее на острове Делос, увидев уродливый обрубок, считавшийся изображением богини Лето. Нечто вроде этого было и со мной.

В ранней юности я было разучился смеяться в трюфонийской пещере; возмужав, я взглянул на жизнь открытыми глазами, засмеялся и с тех пор не перестаю... Я понял, что значение жизни сводится к «теплому местечку»; что цель жизни – чин статского или иного советника; истинный смысл и желание любви – женитьба на богатой; блаженство дружбы – денежная поддержка; истина – лишь то, что признается большинством; восторженность – способность произнести спич; храбрость – риск подвергнуться десятирублевому штрафу; сердечность – послеобеденное пожелание «на здоровье»; набожность – ежегодное говение... Я взглянул на жизнь и засмеялся.

* * *

Чем я связан? Из чего была цепь, которою сковали волка Фенриса? Из шума кошачьих шагов, из бород женщин, из корней гор, из дыхания рыб, из слюны птиц. И я скован цепью из мрачных фантазий, тревожных грез, беспокойных дум, жутких предчувствий и безотчетных страхов. Цепь эта «упруга, легка как шелк, растяжима до бесконечности, и ее нельзя разорвать».

* * *

Я, может быть, и постигну истину, но до познания блаженства душевного мне еще далеко. Что же мне делать? Скажут: «Займись делом». Каким? Чем мне заняться? Разве оповещать человечество о своей грусти, стараясь представить новые доказательства печального ничтожества человеческой жизни? Или открывать какие-нибудь новые, еще не известные доселе темные стороны жизни? Этим я мог бы, пожалуй, стяжать себе редкую награду: прославиться наподобие астронома, открывшего новые пятна на Юпитере. Предпочитаю, однако, молчать.

* * *

Удивительная вещь: во всех возрастах жизни человек занят одним и тем же, трудится над разрешением одной и той же проблемы и не только не двигается с места, а скорее даже идет назад. Еще пятнадцатилетним мальчиком я преважно написал школьное сочинение на тему «Доказательства бытия Бога, бессмертия души, необходимости веры и действительности чуда». На выпускном экзамене мне опять пришлось писать о бессмертии души, и мое сочинение удостоилось особого одобрения; несколько позже я получил даже премию за другое сочинение на ту же тему. Кто поверит, что после такого многообещающего начала я к двадцати пяти годам от роду дошел до того, что не мог привести ни одного доказательства в пользу бессмертия души! Особенно памятно мне, что одно из моих сочинений на упомянутую тему было прочитано учителем вслух и расхвалено как за мысли, так и за слог. ...Увы! Сочинение это я давно куда-то забросил! Какая жалость! Может быть, оно рассеяло бы теперь мои сомнения. Вот мой совет родителям, начальникам и учителям: следует внушить детям хранить все

написанные ими в пятнадцатилетнем возрасте сочинения на родном языке. Дать такой совет – единственное, что я могу сделать для блага человечества.

* * *

Как человеческая натура всегда верна себе! С какой природной гениальностью дает нам иногда маленький ребенок живую картину сложных житейских отношений. Так забавно было сегодня смотреть на маленького Людвига. Он сидел на своем высоком креслице и предвительно посматривал вокруг. По комнате прошла его няня Мария. «Мария!» – кричит он. «Что, Людвиг?» – ласково отвечает она и подходит к нему, а он, слегка наклонивши головку набок и глядя на нее своими большими лукавыми глазенками, прехладнокровно заявляет: «Не ту Марию, другую!»... А мы как поступаем? – Взываем ко всему человечеству, а когда люди приветливо идут нам навстречу, мы восклицаем: «Не ту Марию!»...

* * *

Моя жизнь – вечная ночь... Умирая, я мог бы воскликнуть, как Ахиллес:

Du bist vollbracht,
Nachtwache meines Daseins!⁹

* * *

Моя жизнь совершенно бессмысленна. Когда я перебираю в памяти различные ее эпохи, мне невольно хочется сравнить ее с немецким словом «*Schnur*», обозначающим, как известно, во-первых – шнурок, во-вторых – эпоху. Недоставало только, чтобы оно обозначало еще: в-третьих – верблюда, а в-четвертых – швабру.

* * *

Право, я похож на люнебургскую свинью. Мышление – моя страсть. Я отлично умею искать трюфели для других, сам не получая от того ни малейшего удовольствия. Я подымаю носом вопросы и проблемы, но все, что я могу сделать с ними, – это перебросить их через голову.

* * *

Как, однако, скука... ужасно скучна! Более верного или сильного определения я не знаю: равное выражается лишь равным. Если бы нашлось выражение более сильное, оно нарушило бы эту всеподавляющую косность. Я лежу пластом, ничего не делаю. Куда ни погляжу – везде пустота: живу в пустоте, дышу пустотой. И даже боли не ощущаю. Прометею хоть коршун печень клевал, на Локи хоть яд непрерывно капал, – все же было хоть какое-нибудь разнообразие, хоть и однообразное. Для меня же и страдание потеряло свою сладость. Посулите мне все блага или все муки земные – я не повернусь даже на другой бок ради получения одних или

⁹ Ты завершилась, Ночная стража моего бытия! (нем.)

во избежание других. Я медленно умираю. Что может развлечь меня? Вот если бы я увидел верность, восторжествовавшую над всеми испытаниями, увлечение, все преодолевшее, веру,двигающую горы, если бы я видел торжество мысли, примиряющее конечное с бесконечным... Но ядовитое сомнение разрушает все. Моя душа подобна Мертвому морю, через которое не перелететь ни одной птице, – достигнув середины, она бессильно падает в объятия смерти.

* * *

Сопrotивляться бесполезно. Нога моя скользит. Жизнь моя все-таки остается жизнью поэта. Можно ли представить себе более злосчастное положение? Я отмечен, судьба смеется надо мной, показывая как все мои попытки к сопротивлению превращаются в поэтические моменты. Я могу описать надежду с такой жизненной правдой, что всякий, «надеющийся и верующий» в жизнь, узнает себя в моем описании, а оно все-таки ложь: я создал его лишь по воспоминаниям.

* * *

Несоразмерность в построении моего тела состоит в том, что у меня, как у новоголландского зайца, слишком короткие передние ноги и слишком длинные задние. На месте я вообще сижу спокойно, но чуть двинусь с места, движение это проявляется громадным прыжком, к ужасу всех, кто связан со мной узами родства или дружбы.

* * *

Удивительно! С каким страхом цепляется человек за жизнь, одинаково боясь и утратить ее, и удержать за собою. Иногда мне приходит мысль сделать решительный шаг, перед которым все мои прежние эксперименты окажутся детской забавой: хочу пуститься в неведомый путь великих открытий. Кораблю, спускаемому с верфи в море, салютуют выстрелами, так же хотел бы я отсалютовать и себе самому. А между тем... Мужества, что ли, не хватает у меня? Хоть бы кирпич свалился мне на голову и пришиб меня до смерти, – все был бы исход!

* * *

Зачем я не родился в бедной семье, зачем не умер ребенком? Отец положил бы меня в гробик, взял его под мышку, снес ранним воскресным утром на кладбище и сам закопал бы в могилку, пробормотав несколько слов, ему одному понятных... Лишь счастливой древности могла прийти мысль изображать младенцев в Элизиуме, оплакивающих свою преждевременную смерть.

* * *

Я никогда не был веселым в душе, а между тем веселье как будто всегда сопутствует мне, вокруг меня словно всегда порхают невидимые для других легкие гении веселья, любясь которыми, глаза мои сияют радостью. И вот люди завидуют мне, когда я прохожу мимо них счастливый и веселый, как полубог, а я хохочу – я презираю людей и мщу им. Я никогда не унижался до того, чтобы пожелать обидеть кого-нибудь фактически, нанести действительное оскорбление, но всегда умел повернуть дело так, что люди, вступавшие со мной в сношения, выносили впечатление какой-то обиды. Слыша, как хвалят других за честность и верность, я

хохочу. Я никогда не был жестокосердным, но именно в минуты наисильнейшего сердечного волнения я принимал самый холодный и бесчувственный вид. Слыша, как превозносят других за доброе сердце, любят за нежные глубокие чувства, я хохочу. Видя ненависть и презрение ко мне со стороны людей, слыша их проклятия моей холодности и бессердечию, я хохочу, потому что презираю людей и мщу им; я хохочу – и моя злоба удовлетворяется. Вот если бы этим добрым людям удалось довести меня до того, чтобы я провинился фактически, поступил несправедливо, – тогда я был бы побежден.

* * *

Вино больше не веселит моего сердца: малая доза вызывает у меня грустное настроение, большая – меланхолию. Моя душа немощна и бессильна; напрасно я вонзаю в нее шпоры страсти, она изнемогла и не воспрянет более в царственном прыжке. Я вконец утратил иллюзии. Напрасно пытаюсь я отдаться крылатой радости: она не в силах поднять мой дух, вернее, он сам не в силах подняться; а бывало, при одном веянии ее крыл я чувствовал себя так легко, свежо и бодро. Бывало еду по лесу верхом, тихим шагом, а чудится – лечу на крыльях ветра; ныне же конь весь в пене, готов рухнуть оземь, а все кажется, что я не двигаюсь с места!

Я одинок, я всегда был одинок; я покинут не людьми – это меня не огорчило бы, – а гениями веселья. Бывало, они окружали меня со всех сторон, всюду отыскивали себе товарищей, везде ловили для меня случай; сонмы веселых эльфов толпились вокруг меня, как вокруг пьяного шаловливые школьники, и я улыбался им. Душа моя утратила самое понятие о возможности. Если бы мне предложили пожелать чего-нибудь, я пожелал бы не богатства, не власти, а страстной веры в возможность, взора, вечно юного, вечно горящего, повсюду видящего возможность... Наслаждение разочаровывает, возможность – никогда. Где найдется вино, такое душистое, пенистое, опьяняющее, как «возможность»?

* * *

Звуки проникают и туда, куда не проникают солнечные лучи. Комната у меня темная, мрачная; высокая каменная стена против окна почти совсем заслоняет дневной свет. Слышатся звуки музыки... Должно быть, из соседнего двора... Вероятно, бродячий музыкант... Какой же это инструмент? Камышовая свирель? Что я слышу! Менуэт из *Дон Жуана*. Умчите же меня, могучие, полные звуки, к танцам, к шумному веселью, к женщинам! Аптекарь что-то толчет в ступе, кухарка выскребает кастрюлю, конюх выколачивает о мостовую скребницу. Но звуки музыки принадлежат мне одному, увлекают лишь одного меня! О, благодарю тебя, благодарю, кто бы ты ни был! Душа моя так оживлена, так полна восторгом!

* * *

Семга сама по себе вещь очень вкусная, но в большом количестве она вредна для желудка, как и всякая тяжелая пища. Поэтому-то однажды во время большого улова семги возле Гамбурга полиция запретила домохозяевам кормить прислугу семгой больше одного раза в неделю. Вот бы вышел такой же приказ относительно сентиментальности!

* * *

Солнце весело и ласково заглядывает в мое жилище; в соседней комнате открыто окно. На улице тихо – послеобеденная воскресная пора. Я слышу, как поет жаворонок под окном

красивой девушки на соседнем дворе. С какой-то дальней улицы доносится выкрикивание разносчика рыбы. В воздухе разлита такая теплота, а город будто весь вымер... Мне вспоминается моя молодость, моя первая любовь, когда я так грустил. Теперь я грущу лишь по той первой грусти. Что такое юность? – Сон... Что такое любовь? – Сновидение...

* * *

Моя печаль – моя крепость; она расположена на вершине горного хребта среди облаков, как гнездо орла; никто не может овладеть ею. Оттуда я делаю набеги в действительную жизнь, хватаю добычу, приношу домой и тку из нее картину для украшения стен моей башни. Я живу там отшельником. Все пережитое я погружаю в купель забвения вечных воспоминаний; все конечное забыто и стерто. Я, как седой старец, сижу здесь в глубокой задумчивости и тихо, почти шепотом, объясняю себе картины. Меня слушает ребенок, хотя он и помнит все сам, без моих рассказов.

* * *

Со мной случилось внезапное чудо: я вдруг очутился на седьмом небе, перед сонмом богов. В знак особой милости мне было предоставлено право пожелать чего-нибудь. «Хочешь, – спросил Меркурий, – молодости, красоты, власти, долгой жизни или любви первой красавицы в свете, или какую-нибудь другую усладу из нашего хлама – выбирай, но что-нибудь одно»... После минутного раздумья я обратился к богам со следующими словами: «Почтенные современники! Я выбираю право всегда смеяться последним». Ни один из богов не ответил ни слова, но все засмеялись, из чего я заключил, что, во-первых, просьба моя уважена, а во-вторых, что боги обладают тактом: было бы ведь некстати серьезно ответить мне: «Да будет по-твоему»!

* * *

Какое-то неопределенно-грустное настроение овладело мной при виде бедняка, медленно пробирающегося по улице в потертом светло-зеленом с желтым отливом сюртуке. Мне было жаль его, но особенно взволновал меня цвет его сюртука, так живо напомнивший мне мои первые ребяческие попытки в благородном искусстве живописи: этот цвет, как нарочно, представлял мое любимое сочетание красок. Не грустно ли в самом деле, что в жизни совсем не приходится встречать этой краски, о которой до сих пор я вспоминаю с таким удовольствием? Все находят ее резкой, неприятной, годной разве для размалевки грошовых игрушек. Если мне и случается натолкнуться на нее, то, как на грех, всегда при какой-нибудь грустной встрече, вроде упомянутой. Это всегда сумасшедший или другой несчастный, словом, человек, чувствующий себя лишним на белом свете и не признаваемый людьми за собрата. ...А я-то всех своих героев окрашивал в этот незабвенный желто-зеленый цвет! Не общая ли это участь радужных красок нашего детства? Не становятся ли мало-помалу цвета этой эпохи жизни слишком яркими, резкими для нашего утомленного глаза?

* * *

Право, у меня хватило бы мужества сомневаться во всем, бороться со всеми, но я не осмеливаюсь познать, усвоить что-либо, овладеть чем бы то ни было. Многие жалуются, что жизнь чересчур прозаична, что она не похожа на роман, где случай всегда вывозит. Я тоже

недоволен, что жизнь – не роман, где приходится бороться с жестокосердыми отцами, колдунами и привидениями и освобождать очарованных принцесс. Все эти враги, вместе взятые, – ничто в сравнении с теми бледными, бескровными, но живучими ночными призраками, с которыми я борюсь, хотя сам же вызвал их к жизни.

* * *

Двери счастья отворяются, к сожалению, не внутрь – тогда их можно было бы растворить бурным напором, – а изнутри, и потому ничего не поделаешь!

* * *

Моя душа, моя мысль бесплодны, и все же их терзают непрерывные бессмысленные, полные желания родовые муки. Неужели мне никогда не сообщится дар духа, который развязал бы мой язык, неужели я навеки осужден лепетать?

Мне нужен голос пронзительный, как взор Линцея, поражающий ужасом, как вздох гигантов, неистошимый, как звуки природы, насмешливый, как порыв внезапно хлестнувшего в лицо дождем ветра, злой, как бездушно глумление эха, с диапазоном от *basso profundo* до самых нежных, чарующих грудных звуков, со всеми переходами от благоговейного шепота до дикого вопля отчаяния. Вот что нужно мне, чтобы облегчить душу и высказать все, что томит ее, потрясти диафрагму и любви, и злобы... Но голос мой хрипл, как крик чайки, и беззвучен, как благословение на устах немого.

* * *

Самая прекрасная пора жизни – пора первой любви: каждое свидание, каждый взгляд приносят какую-нибудь новую радость.

Мой взгляд на жизнь лишен всякого смысла – мне кажется, что какой-то злой дух надел мне на нос очки, одно стекло которых увеличивает все до чудовищных размеров, а другое – до такой же степени уменьшает.

Скептик – *μετατίθενος*¹⁰: он, как спущенный волчок, может некоторое время вертеться на острие, но утвердиться на месте он не в состоянии.

* * *

Смешнее всего суетиться, т. е. принадлежать к числу тех людей на свете, о которых говорится: кто быстро ест, быстро работает. Когда я вижу, что такому деловому господину в самую решительную минуту сядет на нос муха, или у него перед носом разведут мост, или на него свалится с крыши черепица – я хохочу от души. Да и можно ли удержаться от смеха? И чего ради люди суетятся? Не напоминают ли они женщину, которая, засуетившись во время пожара в доме, спасла щипцы для углей? – Точно они спасут больше из великого пожара жизни!

¹⁰ Буквально: «бичуемый» (греч.) – волчок, юла, запускаемая с помощью хлыста или прута. Ср. укр. «навіжений».

* * *

У меня вообще не хватает терпения жить... Я не вижу, как растет трава, – а раз я не вижу этого, я и совсем не желаю смотреть! Мои воззрения похожи на размышления странствующего схоластика, пролетевшего поле жизни сломя голову... Говорят, Творец насыщает желудок прежде глаз – я этого не замечаю. Мой взор давно пресыщен жизнью, а сам я все-таки голоден...

* * *

Спрашивайте меня о чем угодно, только не о причинах. Молодой девушке извиняют, если она не может привести причин на том основании, что она-де живет чувством. Со мной не то: у меня обыкновенно бывает так много одна другой противоречащих причин, что по этой причине я и не могу сослаться ни на одну причину. Что же касается отношения между причиной и следствием, то и тут, если не ошибаюсь, что-то неладно. То громадная причина имеет самые ничтожные последствия, а то и вовсе никаких – какая-нибудь вздорная ничтожная причина ведет к колоссальным последствиям.

* * *

Жизнь превратилась для меня в горький напиток, а мне еще приходится принимать его медленно, по счету, как капли...

* * *

Следует отдать справедливость так называемым невинным радостям жизни; в них лишь один недостаток: они слишком уж невинны. К тому же и пользоваться-то ими приходится донельзя умеренно... Я еще понимаю, если мне предписывает диету доктор, – можно некоторое время воздерживаться от известных блюд... но соблюдать диету в диете – это уж чересчур!

* * *

Никто не возвращается из царства мертвых... – никто не является на свет без слез... – никто не спрашивает, когда хочешь явиться... – никто не справляется, когда желаешь уйти...

* * *

Говорят, время летит, жизнь идет вперед и т. п. Не замечаю. И время стоит, и я стою. Все планы, которые выбрасывает мой ум, не идут в ход, а возвращаются ко мне; хочу плюнуть – плюю себе в лицо.

* * *

На что я гожусь? – Ни на что или на все что угодно. Редкая способность! – сумеют ли оценить ее? Кто знает, находят ли себе место служанки, которые публикуются в качестве «одной прислуги» или, в случае надобности, в качестве «чего угодно»?

* * *

Ни одной беременной женщине не придут в голову такие причудливые и нетерпеливые желания, какие появляются у меня. Они относятся то к самым ничтожным, то к самым возвышенным предметам, но все равно отражают мгновенный страстный порыв души. Сейчас, например, мне хотелось бы тарелку размазни! Мне вспоминаются школьные годы – нам всегда подавали ее по средам. Помню, какая она была гладкая и нежная, как улыбалось мне таявшее в ней масло, какой горячий пар шел от нее, как я бывал голоден и с каким нетерпением ожидал позволения приняться за нее! Вот бы теперь тарелку такой размазни! Я готов дать за нее свое первородство – даже больше!

* * *

Никогда не следует падать духом. «Когда беды и несчастья обрушиваются на человека самым жестоким образом, в облаках появляется спасительная рука» – так сказал недавно за вечерней господин пастор.

Я частенько бываю под открытым небом, однако ни разу не видел ничего такого. Несколько дней назад мне, правда, показалось нечто подобное, но и это была не рука, а что-то, похожее на простертую из облаков руку. Я подумал: жаль, что нет тут нашего пастора, а то он решил бы, не на это ли явление он тогда намекал? Размышления мои прервал какой-то прохожий. «Вы видите этот смерч? – начал он, указывая на облачную руку. – Его в наших местах редко увидишь, а случается, он уносит с собой целые дома!»... О-о! Так это смерч! И я со всех ног пустился домой. Как на моем месте поступил бы господин пастор?...

* * *

Пусть другие жалуются, что наше время дурно, – я недоволен им за то, что оно ничтожно, совершенно лишено страсти. Мысли современного человека жидки и непрочны, как кружева, а сами люди жалки, как кружевницы. Людские помыслы слишком ничтожны даже для того, чтобы назваться греховными. Червяку еще, пожалуй, можно бы вменить в грех такие помыслы, но человеку, созданному по образу Бога!... Желания людские степенны и вялы, страсти спят – люди только «исполняют свои обязанности», и то как торгаши-евреи, позволяющие себе немножко поурезать червонец. Они думают, что, как бы Всевидящее Око ни следило за ними, авось все-таки им удастся урвать малую толику... Гадко! Вот почему душа моя постоянно обращается к Ветхому Завету и Шекспиру... Там, по крайней мере, чувствуется, что говорят люди, – там ненавидят, там любят, убивают своего врага и проклинаят его потомство во всех поколениях... там грешат!

* * *

Маг Вергилий велел изрубить себя на куски, бросить в котел и варить в продолжение восьми дней – посредством этого процесса он должен был вновь стать молодым. Чтобы чужой глаз не мог заглянуть в волшебный котел до срока, он приставил караульного. Тот, однако, сам не выдержал искушения – и Вергилий в виде младенца с плачем исчез навсегда! Я тоже слишком рано, кажется, заглянул в котел жизни и исторического развития и вследствие этого, вероятно, не пойду дальше младенчества.

* * *

Я делю свое время так: одну половину сплю, другую – грежу. Во сне я не вижу никаких сновидений, и это хорошо, потому что уметь спать – высшая гениальность.

* * *

Быть вполне человеком – все-таки выше всего... У меня на ногах появились мозоли – значит, шаг вперед.

В результате моей жизни получится «ничто» – она представляет собой одно настроение, один колорит; выйдет, таким образом, нечто вроде картины художника, которому поручили изобразить переход евреев через Красное море: он покрыл все полотно красной краской, поясняя, что евреи перешли, а египтяне утонули.

* * *

Что ни говорите, а человеческое достоинство признается еще в природе. Желая отогнать птиц от плодовых деревьев, ставят чучело, и даже отдаленного сходства этого пугала с человеком достаточно для того, чтобы внушить уважение.

* * *

Лучшим доказательством ничтожества жизни являются примеры, приводимые в доказательство ее величия.

* * *

Пошлая судьба! Напрасно ты, как старая развратница, замазываешь свои морщины белилами, напрасно звенишь своими шутовскими бубенчиками. Надоела ты мне! Все то же да то же, все *idem per idem*, никакого разнообразия – все одно и то же разогретое вчерашнее блюдо. Придите хоть вы, сон и смерть, – одни вы, ничего не обещая, все исполняете!

* * *

Для того чтобы любовь имела какое-нибудь значение, первое проявление ее должно быть озарено луной, как и Апис, чтобы стать настоящим Аписом, при рождении своем должен быть озарен луной. Корова, разрешившаяся Аписом, тоже должна быть озарена луной в момент зачатия?

* * *

Большинство так усердно гонится за наслаждениями, что обгоняет их. Люди в этом случае напоминают карлика, сторожившего похищенную принцессу: однажды он прилег вздремнуть после обеда, а когда проснулся, принцессы и след простыл. Он спешит надеть свои семи-мильные сапоги – и одним шагом далеко обгоняет ее.

* * *

Как жизнь пуста, ничтожна! Хоронят человека: провожают гроб до могилы, бросают в нее горсть земли: туда едут в карете и возвращаются в карете; утешают себя тем, что еще долгая жизнь впереди.

А что такое, в сущности, семь-десять лет? Отчего бы не покончить сразу, не остаться на кладбище всем, бросив жребий: на чью долю выпадет несчастье быть последним и бросить последнюю горсть земли на могилу последнего усопшего?

* * *

Душа моя угнетена, подавлена каким-то мрачным, тяжелым предчувствием... мысль не в состоянии унести ее от земной юдоли в свободный эфир... И даже выйдя из оцепенения, она продолжает тяготеть к земле и низко стелется над ее поверхностью, как птица перед грозой.

* * *

Женщины! Что в них? Красота их исчезает, как сон, как вчерашний день. Верность их... Да в том-то и дело! Они или легкомысленны (что меня перестало интересовать), или верны. Одна из них еще могла бы, пожалуй, увлечь, заинтересовать меня... как редкость, но не больше, – ведь окажись она верной в истинном смысле слова, я стал бы жертвой собственного эксперимента: мне пришлось бы тоже посвятить ей всю свою жизнь, а не выдержи она – опять старая история!

* * *

Я слышу два знакомых удара смычка! И это здесь, на улице! Да уж не лишился ли я рассудка? Или слух мой, влюбленный в музыку Моцарта, сам обманывает себя? Или милосердные боги, из сострадания ко мне, как к нищему, сидящему у врат храма, даровали мне ухо, способное слышать им же самим воссозданные звуки? Я слышу эти два звука... и ничего больше. Как в бессмертной увертюре, они всплывают из-под низких аккордов хорала, так и теперь они ясно выделяются из уличного шума и гама со всей неожиданностью откровения. Однако это должно быть где-нибудь близко... Вот раздались веселые, манящие к танцам звуки... – А! Так это вам обязан я наслаждением, бедные бродячие артисты! Один из них, лет семнадцати, одет в зеленый сюртук с большими костяными пуговицами. Сюртук ему не по росту. Скрипка прижата к подбородку; фуражка сдвинута на брови; на руке перчатка без пальцев, ладони посинели от холода. Другой, постарше, в шинели. Оба слепые. Маленькая девочка, должно быть поводырь, стоит возле, спрятав руки под платок. Мало-помалу вокруг музыкантов образовался целый кружок поклонников их музыки: почтальон с сумкой, мальчик, кухарка, двое мастеровых да я. Щегольские барские экипажи с шумом катили мимо, грохот ломовых телег почти заглушал звуки музыки. Знаете ли вы, бедные музыканты, что в этих звуках все прелести жизни? Не похож ли этот случай на свидание?

* * *

За кулисами загорелось. Клоун выскочил предупредить публику. Решили, что он шутит, и давай аплодировать. Он повторяет – еще более неистовый восторг. Сдается мне, пробьет час, и мир рухнет при общем восторге умников, воображающих, что и это буффонада.

* * *

В чем вообще смысл жизни? – Людей, собственно, можно разделить на два класса: один должен работать, чтобы поддержать жизнь, другой не нуждается в этом. Но не в работе же людей первого класса смысл жизни! Если допустить это, выйдет колоссальное противоречие: постоянное добывание условий станет ответом на вопрос о значении того, что этим обуславливается! Жизнь другого класса тоже не имеет никакого иного смысла, кроме потребления готовых условий. Сказать же, что смысл жизни в смерти – вновь, кажется, противоречие...

* * *

Сущность наслаждения заключается не в предмете наслаждения, а в представлении о наслаждении. Если б я имел в услужении сказочного духа и приказал ему доставить мне стакан воды, а он принес бокал лучшего в мире вина, я бы прогнал его и не позволил являться на глаза, пока он не поймет, что сущность наслаждения не в наслаждении чем-либо, а в исполнении желания.

* * *

Да, я не господин своей судьбы, а лишь нить, вплетенная в общую ткань жизни! Но если я и не могу ткать сам, то могу обрезать нить.

* * *

Все должно совершаться в безмолвной тишине – в ней таится обоготворяющая сила.
Слова:

«Mix einem Kind, dass gottlich, wenn Du schweigst,
Doch menschlich, wenn Du das Geheimnitz zeigst»¹¹,

можно применить не только к судьбе ребенка Психеи.

* * *

Я, по-видимому, осужден пережить всевозможные душевные настроения, чтобы набраться опыта. И вот я ежеминутно попадаю в положение ребенка, которого учат искусству плавания посреди океана. Я кричу (этому меня научили греки, у которых вообще можно

¹¹ Дитя то – Божество, пока безмолвен ты, Но – человек, коли залог нарушишь немоты (нем.). Пер. М. Белорусца.

научиться всему чисто человеческому), хотя на меня и наложен пояс, – я не вижу палки, за которую меня поддерживают над водой. Приобретать опыт таким образом – страшно.

* * *

По-моему, нет ничего пагубнее воспоминаний. Если какие-нибудь житейские обстоятельства или отношения переходят у меня в воспоминания, значит, самые отношения уже покончены.

Говорят, разлука обновляет любовь. Это правда, но лишь в поэтическом смысле. Жить воспоминаниями – нельзя и представить себе ничего выше этой жизни: никакая действительность не может так удовлетворить, наполнить человека, как воспоминание; в воспоминании есть такая «действительность», какой никогда не имеет сама действительность. Когда я вспоминаю какие-нибудь житейские отношения, они уже достояние вечности и временного значения не имеют.

* * *

Философские учения о жизни зачастую так же обманывают, как вывески с надписью «Стирка белья» на толкучке. Вздумай кто явиться сюда с бельем, он будет сильно разочарован – вывеска выставлена для продажи.

* * *

Если кому следовало бы вести дневник, так это мне, особенно для памяти. Время спустя я часто забываю, что побудило меня к тому или иному поступку, – и не только тогда, когда речь идет о пустяках, но даже в самых серьезных случаях жизни. Если же мне иногда и удается впоследствии припомнить причину, то она обыкновенно кажется мне такой странной, что я просто отказываюсь признать ее. А имей я привычку записывать все, подобное сомнение было бы устранено.

Да, причина – вообще странная штука: если душа моя взволнована страстью, причина вырастает в колоссальную необходимость, могущую поколебать вселенную; в спокойном же состоянии духа я отношусь к ней свысока. Я уже давно задумываюсь над причиной, по которой я отказался от адъюнктуры. Теперь мне думается, что я был бы как раз на своем месте в этой должности. Сегодня же меня озарила мысль, что это именно и было причиной моего отказа: если бы я занял эту должность, мне бы уже не на что было рассчитывать впереди, я мог лишь все проиграть и ничего не выиграть в будущем. Оттого я предпочел искать счастья в труппе странствующих актеров: у меня нет таланта, следовательно, я могу надеяться на счастье и у меня все впереди.

* * *

Надо быть очень наивным, чтоб решиться прибегать к шуму и крику. Будто судьба человека изменится от того! Нет, лучше уж примириться с ней, взять ее, какова она есть, не мудрствуя лукаво.

В дни молодости, заказывая бифштекс в ресторане, я всегда напоминал слуге: «Смотри же, хороший кусок и не слишком жирный». Но слуга ведь мог и не расслышать моих слов, не говоря уже о том, что он бы мог просто не обратить на них внимания. Кроме того, мои слова должны были еще проникнуть на кухню, дойти до ушей повара... Положим, однако, что все

это удалось, – ведь и тогда могло оказаться, что нет ни одного хорошего куска на кухне! ...
Теперь уж я не кричу.

* * *

Чувства гуманности и филантропические стремления распространяются все более и более. – В Лейпциге образовалось общество, поставившее себе задачей: из сострадания к печальной кончине старых лошадей... есть их.

* * *

Лучший мой друг – эхо, а почему? – Потому что я люблю свою грусть, а оно не отнимает ее у меня. У меня лишь один поверенный – ночная тишина... Почему? – Потому что она нема...

Несчастнейший¹²

Где-то в Англии должна быть, как известно, могила, замечательная не великолепным памятником или унылыми окрестностями, а лаконической надписью – *несчастнейший*. Говорят, могила была вскрыта, но от трупа не осталось ни следа. Чему же больше удивляться: тому ли, что не оказалось трупа, или тому, что вскрыли гроб? В самом деле странно, что старались узнать, был ли кто в гробу. Читая имя в надгробной надписи, очень легко увлечешься мыслью, как протекла жизнь человека на свете, и может явиться желание сойти к нему в могилу и вступить с ним в беседу. Но эта надпись столь многозначительна! У книги может быть заглавие, возбуждающее желание прочесть ее, но иное заглавие может быть настолько глубокомысленно само по себе, лично настолько заманчиво, что никогда не захочется прочесть книгу. Воистину потрясен ли, радостен ли человек, эта надпись столь многозначительна для всякого, кто в глубине своей, может быть, тайно сроднился с мыслью, что он – несчастнейший. Но я могу представить себе человека, чья душа не знает подобной заботы; ему было просто любопытно узнать, действительно ли был кто-нибудь в гробу. И смотрите, гробница была пуста. Может быть, он снова воскрес, может быть, он хотел посмеяться над словами поэта:

... в могилах – покой,
Жильцы их не ведают скорби людской;

он не обрел мира даже в гробу, может быть, он снова бесприютно блуждает по свету, покинул свой дом, свой очаг, оставил только свой адрес! Или он еще не найден, он, несчастнейший, кого даже Евмениды не преследуют, пока он не найдет двери в храм или скамьи смиренно молящихся, но кого скорби окружают в жизни, скорби сопровождают в могиле!

Если же он еще не найден, то предпримем мы, дорогие *Ευμλαρα νεχρωνот*¹³, как крестоносцы, паломничество не ко святому гробу на счастливом востоке, а к скорбному гробу на несчастном западе. У этого пустого гроба будем мы искать его, несчастнейшего, в уверенности найти его; ибо, как тоска верующих стремится ко гробу святому, так несчастных влечет на запад, к этому пустому гробу, и каждый исполнен мысли, что он предназначен ему.

Или же подобное размышление мы сочтем недостойным предметом наших дум, мы, чья деятельность, если я должен следовать священному обычаю нашего общества, есть попытка неожиданного афористического благоговения, мы, что не мыслим и не говорим афористически, но живем афористически, мы, что живем *αφορμενот*¹⁴ и отторгнутые, как афоризмы в жизни, вне общения с людьми, непричастные к их печалям и радостям, мы, что являемся не созвучием в жизненном шуме, но одинокими птицами в ночном безмолвии, собравшимися один-единственный раз, дабы проникнуться назидательным зрелищем ничтожества жизни, медлительности дня и бесконечной длительности времени, мы, дорогие *Ευμλαρα νεχρωνот*, не верящие ни игре радости, ни счастьем глупцов, мы, кто ни во что не верит, кроме несчастья.

Смотрите, какую несметную толпою теснятся они, все несчастные. Все же много их, считающих себя званными, но мало избранных¹⁵. Необходимо установить строгое различие между ними – одно слово, и толпа исчезает; как незваные гости, исключаются все, кто думает, что смерть – величайшее несчастье, все те, что стали несчастны, потому что боятся смерти; ибо мы, дорогие *Ευμλαρα νεχρωνот*, как римские солдаты, не боимся смерти, мы знаем худшее

¹² Перевод Ю. Балтрушайтиса.

¹³ Умирающие вместе, сотоварищи в смерти (*греч.*).

¹⁴ Отверженные (*греч.*).

¹⁵ См. Мф 22:14.

несчастье, и прежде всего несчастье жить. Ведь если был человек, которому нельзя было умереть, если правда то, что говорит предание о Вечном Жиде¹⁶, то можем ли мы колебаться и не назвать его несчастнейшим? Тогда было бы ясно, почему этот гроб был пуст, это значило бы, что несчастнейший – тот, кому нельзя было умереть, кто не мог укрыться в гробу. Тогда вопрос был бы решен, ответ был бы прост, ибо несчастнейшим оказался бы тот, кто не мог умереть, счастливым же тот, кто мог; счастливый – тот, кто умер в старости, более счастливый – тот, кто умер в юности, еще счастливее – тот, кто умер, рождаясь, счастливейший – тот, кто совсем не родился. Но это не так, ибо смерть – общее счастье всех людей, и так как несчастнейший не найден, то его необходимо искать с указанным ограничением.

Смотрите, толпа исчезла, число уменьшилось. Я уже не говорю: обратите на меня ваше внимание, ибо я знаю, что оно мое; не говорю: склоните ко мне ваш слух, ибо я знаю, что он мой. Ваши глаза сверкают, вы поднимаетесь с ваших мест. Это же состязание, в котором стоит принять участие, – более ужасающая борьба, чем борьба на жизнь и смерть, так как нам не страшно смерти. Но нас ждет награда величавее всего на свете и вернее; ибо тому, кто убедился, что он – несчастнейший, нечего бояться счастья, и в свой смертный час ему не придется вкусить униженья в необходимости воскликнуть:

*О, Солон, Солон, Солон!*¹⁷

Так вот откроем свободное состязанье, от которого никто не устраняется ни по положению, ни по возрасту. Не устраняется никто, кроме счастливого и кроме того, кто боится смерти – привет любому достойному сочлену общины несчастных, трон предоставляется всякому воистину несчастному, гроб – несчастнейшему. Мой голос звучит на весь мир, внемлите ему, вы все, что зовете себя несчастными на свете, но что не боитесь смерти. Мой голос звучит назад в века; ибо мы не будем такими софистами, чтобы исключать умерших, потому что они умерли, ведь они же жили. Я заклинаю вас простить меня, что я на миг смущаю ваш покой; соберитесь у этого простого гроба. Трижды громко кричу я это на весь мир, услышьте, вы, несчастные; так как здесь, в глухом углу мира, мы не станем решать этот вопрос про себя. Найдено место, где он может быть решен перед лицом вселенной.

Но прежде чем приступить к допросу отдельных людей, мы должны постараться быть достойными судьями и соревнователями. Мы должны укрепить нашу мысль, вооружить ее против обольщения слуха; ибо чей голос столь же вкрадчив, как голос несчастного, чей голос столь же обольстителен, как голос несчастного, когда он говорит о своем собственном несчастье. Станем достойными сидеть здесь в качестве судей, состязающимися, дабы нам не упустить из виду общего, не дать себя смутить отдельным; ибо красноречие скорби бесконечно и бесконечно изобретательно. Мы разделим несчастных на определенные разряды и только одному из каждого разряда будет дано слово; ибо мы не станем отрицать, что не отдельный человек – несчастнейший, а целый класс; но ввиду этого мы не замедлим признать за представителем данного класса имя несчастнейшего, не замедлим признать за ним гроб.

Среди систематических сочинений Гегеля есть глава, где говорится о несчастном сознании¹⁸. К чтению такого рода исследований приступают всегда с глубоким беспокойством и с бьющимся сердцем, со страхом, что придется узнать или слишком много, или слишком мало. Несчастное сознание – такое слово, что, всплыв в потоке речи лишь случайно, может почти заставить кровь застыть, нервы затрепетать, и что теперь, высказанное столь определенно, как то таинственное слово в рассказе Клеменса Брентано¹⁹: *Tertia nux mors est*²⁰ – может заставить

¹⁶ Персонаж христианской легенды позднего западноевропейского Средневековья, обреченный на скитания до второго пришествия Христа за то, что оскорбительно отказал Христу в кратком отдыхе во время его пути на Голгофу.

¹⁷ Восклицание лидийского царя Креза: когда его, побежденного, возводили на костер, он вспомнил слова греческого мудреца Солон о том, что при жизни никого нельзя считать счастливым. *Геродот*, История, 1.85.

¹⁸ *Гегель*, Феноменология духа.

¹⁹ Немецкий писатель-романтик (1778–1842).

человека дрожать, как грешника. Ах, счастлив тот, кому нечего больше делать с этим вопросом, как писать о нем главу; и еще более счастлив тот, кто может написать следующую. Несчастный, стало быть, – тот, чей идеал, чье содержание жизни, чья полнота сознания, чья настоящая сущность так или иначе лежат вне его. Несчастный всегда отторгнут от самого себя, никогда не слит с самим собой. Но отторгнутый от самого себя может, очевидно, жить либо в прошедшем, либо в будущем времени. Этим в достаточной степени очерчена вся область несчастного сознания. Мы благодарны Гегелю за это строгое ограничение, и так как мы не просто философы, созерцающие эту область издали, то постараемся, как ее обитатели, ближе рассмотреть различные стадии, которые она обнимает. Стало быть, несчастный – тот, кто отторгнут от самого себя. Но человек бывает отторгнут от самого себя, когда он живет либо в прошедшем, либо в будущем времени. На этом выражении необходимо настаивать, ибо, как учит нас и языковедение, очевидно, что есть время – настоящее в прошедшем, как есть время – настоящее в будущем времени; но та же наука учит, что есть время *plusquamperfectum* (давно прошедшее), где уже нет ничего настоящего, как есть и *futurum exactum* (будущее время) того же свойства. Это надеющиеся и вспоминающие личности. В известном смысле, поскольку они только надеются и только вспоминают, это несчастные личности, если вообще счастлива только личность, живущая в своем настоящем. Хотя, строго говоря, нельзя же назвать несчастною личность, живущую надеждой или воспоминанием. И что здесь должно быть подчеркнуто, это то, что она живет ими. Равно как отсюда же вам будет видно, что, как бы ни был тяжел удар, он не может сделать человека несчастнейшим. Ведь один удар может только либо вырвать у человека надежду и тем самым перенести его бытие в воспоминание, либо вырвать воспоминание и тем перенести его бытие в надежду. Теперь пойдем дальше и посмотрим, как несчастная личность может быть определена ближе. Сперва рассмотрим надеющуюся личность. Когда она, как надеющаяся (и, стало быть, в известном смысле несчастная) личность, не слита с собою в своем настоящем, то становится несчастной в более строгом смысле. Человек, который надеется на вечную жизнь, в известном смысле несчастный человек, поскольку он отрекается от настоящего, но он несчастен не в строгом смысле слова, так как он слит с самим собою в этой надежде и не приходит в столкновение с отдельными моментами конечности. Наоборот, если он не слит с самим собою в надежде, но теряет свою надежду, снова надеется и так далее, то он отторгнут от самого себя не только в настоящем, но и в будущем, и тогда перед нами пример несчастного. Если мы рассмотрим личность вспоминающую, то получится то же самое. Раз она слита с самой собою в прошедшем, то она несчастна не в строгом смысле слова, если же она не может слиться и непрерывно отторгнута от самой себя в прошедшем, то перед нами снова пример несчастного.

Воспоминание – основная и истинная стихия несчастного, что и естественно, ибо отличительное свойство прошедшего времени в том, что оно прошло, а будущего – в том, что оно придет, и поэтому в известном смысле можно сказать, что будущее ближе к настоящему, чем прошедшее. Чтобы надеющаяся личность могла пребывать в будущем, оно должно быть реально, или вернее, должно быть реально для нее, а чтобы вспоминающая личность могла пребывать в прошедшем, оно также должно быть реально для нее. Но если надеющаяся личность хочет надеяться на будущее, которое не может стать для нее действительностью, или вспоминающая – вспоминать время, которое не было действительностью для нее, то перед нами истинно несчастные личности. Первый случай можно было бы считать невозможным или видеть в нем чистейшее безумие, но это не так, ибо надеющаяся личность надеется не на что-нибудь, лишенное всякой действительности для нее, но надеется на что-либо, что, как она сама знает, не может стать действительностью. Когда, например, личность, теряя надежду, вместо того чтобы стать вспоминающей личностью, хочет быть надеющейся, то перед нами как раз указанный

²⁰ Третий орешек смерть (*лат.*).

случай. И когда личность, которая теряет воспоминание или которой не о чем вспоминать, не хочет стать надеющейся личностью, но продолжает быть вспоминаящей, – перед нами образ несчастного. Если бы личность переносилась, например, в древность или в Средние века, или в любое другое время, но так, что оно имело бы осязательную действительность для нее, или если бы она переносилась в свое детство или юность, как нечто, имеющее осязательную действительность для нее, то она, собственно, не была бы несчастною личностью в строгом смысле слова. Наоборот, если бы я представил себе человека, у которого лично не было никакого детства, ибо этот возраст прошел без всякого значения для него, но который теперь, став, например, учителем детей, открыл бы всю красоту детства и стал бы вспоминать свое собственное детство и вечно оглядываться назад, то в нем мы имели бы вполне подходящий пример. Ему хотелось бы вернуться назад и задним числом воспринять значение того, что прошло для него и что ему хотелось бы вспоминать во всем его значении. И если бы я представил себе человека, который жил, не постигая ни радости жизни, ни ее наслаждения и который заметил их лишь теперь, в свой смертный час, если бы я представил себе, что он не умер – в чем было бы величайшее счастье, – но ожил, без возможности пережить все сызнова, то его можно было бы принять в расчет при решении вопроса, кто был несчастнейший.

Несчастливые люди надежды никогда не чувствуют столько боли, сколько люди воспоминания. У надеющихся всегда более радостное разочарование. Поэтому несчастнейшего всегда нужно искать среди несчастных людей воспоминания.

Но мы пойдем далее, мы представим себе сочетание обоих описанных видоизменений несчастной личности в более строгом смысле слова. Несчастливая надеющаяся личность не могла перенести своего бытия в свою надежду – как несчастная вспоминаящая личность не могла перенести своего бытия в свое воспоминание. Сочетание возможно только одно: то, что мешает ей жить надеждой, есть воспоминание; то, что мешает ей жить воспоминанием, есть надежда. Отсюда следует, что, с одной стороны, человек всегда надеется на то, что ему следовало бы вспоминать; его надежда постоянно не оправдывается, но когда она не оправдывается, он начинает замечать, что это зависит не от того, что цель отодвинулась дальше, но от того, что цель позади, что он уже пережил ее или должен был пережить и, стало быть, перейти к воспоминанию. С другой стороны, он вечно вспоминает то, на что ему следовало бы надеяться; ибо будущее он постиг уже мысленно, мысленно пережил его и вспоминает это свое переживание, вместо того чтобы надеяться на него. Таким образом, то, на что он надеется, лежит позади него, а то, что он вспоминает, лежит впереди. Его жизнь протекает не в обратном порядке, а в двойном смысле – наизнанку. И он скоро почувствует свое несчастье, хотя он еще не понимает, в чем оно, собственно, заключается. И в то же время, чтобы ему можно было глубже почувствовать это, возникает непонимание, которое ежеминутно насмехается над ним самым странным образом. В повседневной жизни он имеет честь считаться в полном уме и ясном сознании, но он отлично знает – пожелай он объяснить свое положение хотя бы одному человеку в мире, его приняли бы за сумасшедшего. От этого легко сойти с ума, но он не сходит, и в этом именно все его несчастье. Все его несчастье в том, что он явился слишком рано на свет, и поэтому он вечно является слишком поздно. Он вечно близок к цели и в тот же миг он уже далек от нее; и вот он замечает: то, что в настоящее время делает его несчастным, потому что он обладает им, или потому что он сам таков, всего несколько лет назад сделало бы его счастливым, если бы в то время он обладал им, а между тем тогда-то он был несчастен, потому что этого у него не было. И его жизнь лишена всякого смысла, как жизнь Анцея, о котором, как обыкновенно говорят, известно только то, что он послужил поводом к поговорке: *πολλα μετταξυ πελει χειλεοξ αχρον*²¹.

²¹ По усам текло, да в рот не попало (*греч.*).

Как будто этого не более чем достаточно. Его жизнь не знает никакого покоя и лишена всякого содержания, он чужд своему мгновению, чужд своему будущему, потому что он уже пережил будущее, чужд прошедшему, потому что прошлое еще не пришло. И вот он гоним, как Лето²², к сумраку Гипербореев, к светлomu острову Экватора, и он не может родить и он вечно как рождающий. Одинокий, на самого себя покинутый, стоит он в безмерном мире, и у него нет настоящего, где бы он мог почить, ни прошлого, по которому он бы мог тосковать, так как его прошлое еще не настало, как нет и будущего, на которое он мог бы надеяться, ибо его будущее уже прошло. И перед ним один лишь безмерный мир, как это Ты, с которым он в разладе; ибо весь остальной мир – как одно-единственное существо для него, и это существо, этот неразрывный, назойливый друг – Непонимание. Ему нельзя состариться, так как он никогда не был молодым, так как он уже стар; в известном смысле ему нельзя и умереть, так как он ведь и не жил; в известном смысле ему нельзя и жить, так как он уже умер; он не может и любить, потому что любовь всегда в настоящем, а у него нет ни настоящего, ни прошедшего, ни будущего, и в то же время он – восприимчивая душа, и он ненавидит мир, только потому что любит его; у него нет никакой страсти не потому, что он чужд всякой страсти, но потому, что в одно и то же мгновение у него и противоположная страсть, у него нет времени ни на что не потому, чтобы его время было занято чем-нибудь другим, а потому, что он совсем не знает времени; он бессилен не потому, что лишен силы, а потому, что собственная сила обессиливает его.

Но наше сердце скоро очерствело, наши уши закрыты, пусть и не вполне. Мы слышали хладнокровный голос рассуждения, выслушаем же красноречие страсти, короткое, могучее, как всякая страсть.

Вот стоит молодая девушка. Она скорбит, что ее возлюбленный оказался неверен. Об этом рассуждать не приходится. Но она только его и любила на свете, она любила его всей своей душой, всем своим сердцем и всем своим помышлением – стало быть, она может вспоминать и скорбеть.

Действительное ли это существо или образ, живая ли, что умирает, или мертвая, что живет: это Ниоба²³. Она всего лишилась вдруг; потеряла то, чему сама дала жизнь, потеряла то, что ей дало жизнь. Благоговейте перед нею, дорогие сотоварищи в смерти, она несколько возвышается над миром, как памятник на могильном кургане. Но ни одна надежда не кивает ей, никакое будущее не волнует ее, никакое зрелище не влечет ее, никакая надежда не тревожит ее – безнадежная, стоит она, окаменев в воспоминании; она была несчастна один миг, и в тот миг она стала счастлива, и ничто не в силах отнять у нее ее счастье; мир меняется, но она не знает никаких перемен, и время идет, но у нее нет никакого будущего.

Взгляните туда, какое прекрасное собрание. Один род подает руку другому. Для благословения, для верного союза, для радостной пляски? Это отверженный род Эдипа²⁴; и удар передается дальше и поражает последний отпрыск его: это Антигона²⁵. Но о ней уже позаботились; скорби рода хватит на одну человеческую жизнь! Она отвернулась от надежды, она переменяла ее непостоянство на верность воспоминания. Будь же счастлива, Антигона. Мы желаем тебе долгих дней, исполненных значенья, как глубокий вздох. Пусть никакое забвение не отнимет у тебя ничего. Пусть будет дана тебе вся полнота повседневной горечи скорби.

²² В греческой мифологии дочь титанов Коя и Фебы, родившая от Зевса Аполлона и Артемиду. Преследуемая Герой, испытывала трудности при их рождении, когда ни один клочок суши не мог ее принять. *Гесиод*, Теогония, 406–407.

²³ В греческой мифологии дочь Тантала, жена царя Фив Амфиона. Имела многочисленное потомство, возгордившись которым перед Лето, имевшей только двоих детей (Аполлона и Артемиду), была наказана ими: Аполлон и Артемида убили из луков всех детей Ниобы, потрясенный горем Амфион покончил с собой, а сама Ниоба окаменела. *Аполлодор* 3. 5, 6.

²⁴ *Софокл*, Царь Эдип, Эдип в Колоне.

²⁵ *Софокл*, Антигона.

Появляется могучий образ; но он не один, с ним и друзья его, зачем же он является сюда? Это патриарх скорби, это Иов²⁶ и его друзья. Он утратил все, но не под одним ударом. Ибо Господь взял, и Господь взял, и Господь взял. Друзья помогли ему почувствовать горечь утраты; ибо Господь дал, и Господь дал, и Господь дал – и неразумную жену в придачу. Он утратил все; ибо то, что он сохранил, не заслуживает нашего внимания. Ему надлежит благоговение, дорогие, за его седые волосы и его несчастье. Он утратил все, но он и обладал всем.

Он поседел, голова его поникла, лицо осунулось, душа отягощена заботой. Это отец блудного сына²⁷. Как Иов, он утратил самое дорогое на свете, но его отнял не Господь, а враг; он не потерял, но теряет; это не отнято у него, но исчезает. Он не сидит у своего очага в пепле и власянице; он ушел из дома, бросил все, чтобы искать утраченного сына; он тянется за ним, но рука не достигает его; он зовет его, но голос остается неслышанным. Все же он надеется, пусть сквозь слезы, он замечает его, пусть сквозь туман, настигает его, хотя бы в смерти. Надежда осеняет его, и ничто не привязывает его к миру, кроме надежды, во имя которой он живет. Его ноги устали, глаза тускнеют, тело ищет покоя, но надежда живет. Волосы у него поседел, тело одряхлело, ноги останавливаются, сердце разрывается, надежда живет. Возвеличьте его, дорогие *Ευμταρανευρωτον*, – он был несчастен.

Кто этот бледный образ, бессильный, как призрак Смерти? Его имя забыто, много веков прошло после его дней. Он был юношей, был полон воодушевления. Он искал мученичества. В мыслях он видел себя пригвожденным к кресту и небеса отверстыми; но действительность была слишком тяжела для него, мечты исчезли, он отрекся от Господа своего и себя. Он хотел поднять мир, но надорвался под бременем; его душа не была раздавлена, не была уничтожена, она была разбита, его дух был надорван, его душа была искалечена. Приветствуйте его, дорогие *Ευμταρανευρωτον*, – он был несчастен. И все же он был счастлив, он стал тем, чем хотел стать, он стал все-таки мучеником, пусть его мученичество было и не то, какого он алкал, так как он не был ни пригвожден к кресту, ни брошен на растерзание диким зверям, но сгорел живым, был медленно снедаем медленным огнем.

Вон там сидит молодая девушка, в раздумье. Ее возлюбленный оказался неверен ей – об этом рассуждать не приходится.

Молодые девушки, всмотритесь в серьезные лица собравшихся: они слышали более ужасные вещи, их бесстрашные души требуют еще больших несчастий.

– Но я только его и любила на свете, я любила его всей моей душой, всем моим сердцем, всем моим помышлением.

– Но это мы уже слышали раньше, не утомляй нашей нетерпеливой тоски; ты можешь вспоминать и скорбеть.

– Нет, я не могу скорбеть, потому что он, может быть, не был неверен, быть может, он не изменил.

– Почему же ты не можешь скорбеть? – Подойди ближе, избранница среди дев, прости строгого судью, что он хотел оттолкнуть тебя, ты не можешь плакать, стало быть, ты можешь надеяться.

– Нет, я не могу надеяться, потому что он был как загадка.

– Хорошо, девушка, я понимаю тебя. Ты стоишь высоко на лестнице несчастья; взгляните на нее, дорогие *Ευμταρανευρωτον*, – она парит почти на вершине несчастья. Но ты должна разделиться – ты должна надеяться днем, а скорбеть по ночам, или скорбеть днем, а надеяться по ночам. Будь горда, ибо никогда не следует гордиться счастьем, а только несчастьем. Ты не самая несчастная, но не кажется ли вам, дорогие *Ευμταρανευρωτον*, ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ

²⁶ См. Книгу Иова.

²⁷ См. Лк 15:13–32.

присудить ей почетное «совершилось»? Гроба мы ей не можем присудить, но самое близкое место подле него.

Потому что вот стоит он, вестник из царства вздохов, избранный баловень страдания, апостол скорби, безмолвный друг боли, несчастный любовник воспоминания, в своем воспоминании смущенный светом надежды, в своей надежде обманутый тенями воспоминания. Голова у него отяжелела, колени изнемогли у него, и все же он отдыхает только на ногах. Он слаб и все же как силен; кажется, что его глаза не пролили, но проглотили много слез, и все же в них пылает огонь, который мог бы пожрать весь мир, и все же ни малейшей занозы скорби в его собственной груди; он согбен, и все же его юность сулит ему долгую жизнь, его уста улыбаются миру, который не понимает его. Встаньте, дорогие *Ευμλαρανεχρωνοτ*, падите ниц, свидетели скорби, в этот торжественный час. Приветствую тебя, великий Незнакомец, чье имя мне неизвестно, приветствую тебя твоим почетным титулом: Несчастнейший. Прими привет здесь, в твоей отчизне, от общины несчастных, прими привет у входа в смиренную тесную обитель, которая все же величавее всех дворцов мира. Смотри, камень снят, гробовые тени ждут тебя со своею отрадною прохладой. Но, может быть, еще не настало время, может быть, путь еще долог; но мы обещаем тебе часто собираться здесь, чтобы завидовать твоему счастью. Прими же наше пожелание, благое пожелание: пусть никто не понимает тебя, но пусть все завидуют тебе; пусть ни один друг не следует за тобой; пусть ни одна девушка не любит тебя; пусть никакое тайное сочувствие не разгадает твоей одинокой скорби; пусть ничей взгляд не откроет твоего далекого страдания; пусть ничей слух не уловит твоего затаенного вздоха. Если же твоя гордая душа пренебрегает таким сострадательным пожеланием, презирает подобное облегчение, пусть девушки любят тебя, пусть беременные прибегают к тебе в своем страхе; пусть матери уповают на тебя; пусть умирающий ищет у тебя утешения; пусть юноши идут за тобою; пусть мужи полагаются на тебя; пусть старец хватается за тебя, как за посох; пусть весь мир верит, что ты можешь сделать его счастливым. Прощай же, несчастнейший. Но что я говорю: несчастнейший, мне следовало бы сказать счастливейший; ведь это же такой дар счастья, какого никто не может дать себе. Видишь, язык немеет и мысли путаются: кто счастливейший, кроме несчастнейшего, и кто несчастнейший, как не счастливейший, и что такое жизнь, как не безумье, и вера, как не сумасшествие, и надежда, как не отсрочка удара на плахе, и любовь, как не укус для раны.

Он исчез, и мы снова стоим у этого пустого гроба. Пожелаем же ему мира, и отдыха, и исцеления, и всякого счастья, и скорой смерти, и вечного забвения, и никакого воспоминания, чтобы даже память о нем не сделала несчастным другого.

Восстаньте, дорогие *Ευμλαρανεχρωνοτ*. Ночь прошла, и день снова начинает свою неутомимую деятельность, по-видимому, никогда не уставая вечно и вечно повторять самого себя.

Примечания

Работа является одной из восьми статей первой части «Или – или», законченной в марте 1842 г. и опубликованной в феврале 1843 г. под псевдонимом Виктор Эремит. В предисловии к изданию сказано, что последний является лишь издателем, а настоящих авторов два – представляющих точки зрения эстетика и этика (подробнее о противопоставлении эстетической и этической стадии см.: II, 15, 19, 62, 64).

На русский язык «Несчастнейший» впервые был переведен Ю. Балтрушайтисом и опубликован в «Северном сборнике» в 1908 г. (I, 4), издании, посвященном скандинавской словесности, публиковавшемся символистами.

Дневник оболъстителя²⁸

Sua passion' predominante e la giovin principiante.
Don Giovanni, № 4. Aria²⁹

Собираясь ради личного своего интереса снять точную копию с бумаг, с которыми я познакомился так неожиданно и которые произвели на меня такое сильное, волнующее впечатление, я не могу отделаться от какого-то невольного смущения и страха. Впечатления первой минуты открытия выступают передо мной с прежней силой. Приятель мой уехал куда-то на несколько дней, оставил, против обыкновения, свой письменный стол открытым, и все, что в нем находилось, было, таким образом, в моем полном распоряжении. Обстоятельство это, конечно, нисколько не оправдывает моего поступка, да и напрасно оправдываться, но я все-таки прибавлю еще, что один из ящичков, полный бумаг, был слегка выдвинут, и в нем на самом верху лежала большая тетрадь в красивом переплете; на верхней корочке переплета был приклеен билетик с надписью, сделанной рукой моего приятеля: *Commentarius perpetuus³⁰ № 4*. Напрасно также с моей стороны оправдывать себя и тем обстоятельством, что книга лежала как раз этой стороной переплета кверху, – ведь если бы меня не соблазнило оригинальное и заманчивое заглавие тетради, я, быть может, и устоял или, по крайней мере, постарался устоять против искушения ознакомиться с ее содержанием... А заглавие было действительно заманчиво, и не столько само по себе, сколько по соотношению с остальными окружающими бумагами. Стоило мне бросить на них беглый взгляд, и я уже знал, вернее, угадал их содержание: эротические наброски, намеки на различные отношения и, наконец, черновые письма особого рода; несколько позже мне пришлось ознакомиться с ними в окончательной, тонко рассчитанной и художественно выполненной небрежной форме. Теперь, когда коварная душа этого безнравственного человека стала для меня уже открытой книгой, мною (если я вновь представлю себя мысленно перед тем раскрытым ящичком) овладевает чувство полицейского, неожиданно обнаружившего приют поддельвателя ассигнаций: отпирая ящички, он находит кучу бумажек – пробы различного шрифта, образчик виньетки, подпись кассира, строки, писанные справа налево... Он сознает, что попал на верный след, и смешанное чувство радости, некоторого страха и, наконец, удивления наполняет его душу. Между мной и полицейским, однако, та разница, что у меня нет ни привычки к подобным открытиям, ни права делать их; я в описываемом случае стоял совершенно на незаконной почве, потому и чувствовал себя несколько иначе: мысли спутались, слова куда-то затерялись... Первое впечатление слишком озадачило меня, а размышление еще не вступило в свои права. Обыкновенно чем больше развита у человека способность мыслить и соображать, тем быстрее и искуснее мысли его подбираются к предмету, осматривают его со всех сторон и затем вполне им овладевают. Развитое соображение, паспортист для иностранцев, настолько уже освоилось с самыми разнообразными, причудливыми типами, что его нелегко поставить в тупик. Как ни развиты, однако, у меня соображение и мышление, признаюсь, что в первую минуту я положительно растерялся и даже побледнел от неожиданности открытия и от мысли: а вдруг он сейчас вернется и застанет меня в этом положении, перед раскрытым ящичком?! Да, нечистая совесть может-таки внести в жизнь некоторый интерес и оживление!

Судя по заглавию найденной тетради, я принял было ее за собрание различных эскизов, тем более что знал, как серьезно относится мой приятель ко всякому предпринятому им лите-

²⁸ Перевод П. Ганзена.

²⁹ Преобладающей его страстью были молоденькие девушки (*ит.*), «Дон Жуан», № 4, ария.

³⁰ Последовательные заметки (*лат.*).

ратурному труду. Оказалось, что я ошибся и это был аккуратно веденный дневник. Не зная еще содержания этого дневника и опираясь на свое прежнее знакомство с его автором, я не мог согласиться с заглавием на тетради – я не находил, чтобы жизнь моего приятеля особенно нуждалась в комментариях, – зато теперь я не могу отрицать, что заглавие было выбрано с большим вкусом. Оно вполне гармонирует с содержанием дневника. Вся жизнь моего приятеля представляла, как оказалось, ряд попыток осуществить свою мечту – жить исключительно эстетической жизнью (и так как у него в высшей степени была развита способность находить интересное в жизни, то он и пользовался ею), а затем поэтически воспроизводить пережитое на бумаге. Строго исторического или просто эпического характера предлагаемый дневник не носит, содержание его скорее условное, чем положительное. Без сомнения, приятель мой записывал события уже после того, как они совершались, иногда, может быть, даже спустя очень долгое время, тем не менее самый рассказ так жив и драматичен, что события как бы совершаются перед нами въявь. Я не думаю, чтобы приятель мой, ведя дневник, имел в виду какую-нибудь постороннюю цель: как в целом, так и в частностях дневник этот не допускает возможности видеть в нем поэму, предназначенную для печати, и, по-видимому, имел для автора исключительно личное значение. Но, во всяком случае, автор не имел бы причин и бояться издать его: большинство собственных имен, встречающиеся в нем, так странны, что невольно является сомнение в их исторической верности. Я имею основание думать, что только первое собственное имя действующих лиц оставалось автором без изменения, для того чтобы сам он впоследствии мог знать, о ком идет речь, а всякий посторонний был бы обманут фамилией. Это заметил я, по крайней мере, относительно Корделии, девушки, на которой сосредоточен главный интерес дневника и которую я знал лично. Настоящая фамилия ее не имела ничего общего с той, которую она носит в дневнике.

Объяснения поэтического характера дневника найти нетрудно. Поэтическая натура моего приятеля была недостаточно богата или, если хотите, недостаточно бедна, чтобы отличить поэзию от действительности. Напротив, он сам вносил поэзию в окружающую его действительность и, насладившись, уносил ее обратно в виде поэтических воспоминаний и размышлений. В этом заключалось для него двойное наслаждение: в первом случае он сам отдавался упоению эстетического, во втором – эстетически наслаждался своей личностью; в первом – он лично эгоистически наслаждался этой, им же самим опозитизированной действительностью, во втором – личное «я» как бы затушевывалось: наслаждаясь каким-нибудь положением, он смотрел на себя как-то со стороны и наслаждался видом самого себя в этом положении. Словом, вся жизнь его была рассчитана на одно наслаждение, и хотя в первом случае действительность была для него необходима как повод, момент, во втором – она совершенно исчезала в поэзии. Плодом наслаждения второго рода является, таким образом, сам дневник, плодом первого – настроение, в котором он велся, объясняющее также его поэтический характер. Именно благодаря этой двойственности, которая проходила через всю жизнь автора, у него и не было недостатка в поэтическом материале.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.